

ОДИНОКИЙ ПУТНИК В ПОИСКАХ БЕЛЫХ ФРАЗ

Независимая газ. — 1999. — 9 апр. — с. 16

К 100-летию Юрия Олеши

Николай Воронов

ТЕМ, ЧТО был писателем из писателей, Юрий Олеся создавал собственную отшельность и негасимость, сводимую к одиночеству. Он сам оставался наедине с простором жизни, потому что был путником по вселенной природы, человеческих типов, русского языка. Был еще и самогероем и неистовым гулякой, за чем забывал все и всех, не исключая жену и подруг-спасительниц, вроде актрисы и писательницы Валентины Куценко.

Одиночество Олеши слагалось постепенно.

НА АЛЛЕЕ КЛАССИКОВ

Форсированно пришедшая к нему известность, достигнутая играючи, укладывалась в десятилетие. Потом — простаивание, угасание, изверженность, кто есть он, Юрий Карлович Олеся? Тяжелее всего, пожалуй, далось ему расставание с фельетоном. Он редко повторялся, однако несколько раз внезапно подчеркивал в разговоре со мной: «Я был знаменитым фельетонистом — Зубило». Нет сомнения, обольщение славой морочило Юрия Олешу. Но его страдание составляло не затухание газетной славы, а разрыв общения с народом. Это уясняет до сентиментальности момент, когда бегущий матрос назвал его, юношу, братишкой. Когда ему перевалило за полвека, он вспоминает этот зов и пишет, что голос матроса трепетал у него на плече.

Он никак не мог смириться со смертью Льва Толстого, самоубийством артиста Макса Линдера вместе с молодой женой было, мнилось Олеши умопомрачительно напрасным.

Сперва тифом заболел он, потом — сестра. Он выздоровел, ее не стало. Его сердце нескончаемо отзывалось на ее раннюю гибель. С младенчества любимей, чем бабушка-полька, у Олеши не было никого. Бабушка лежала при смерти, и он отмолил ее у Бога, стоя ночами на коленях. И тем не менее в нем непроизвольно происходило ускользание опор.

Компанейский, неунывающий, франтоватый здоровяк, он представлялся человеком вне лишений. Во время Великой Отечественной войны у него разбомбили квартиру в Лаврушенском переулке. Он попросился в сторожку при даче у своего преуспевавшего земляка в Переделкине, но получил отлуп. (Кто-то из писателей, вроде бы Эммануил Казакевич, поселил Олешу у себя в том же Переделкине.)

Олеся ходил с наклоном плеча влево, что создавало фигуру задумчивости. Это было явно непроизвольно: по его природной сути. Однажды мы договорились погулять после завтрака. Я подзадержался, а он был нетерпелив, и едва я выскочил из особняка с колоннами в Доме творчества, то увидел его у калитки с выходом на аллею классиков; ироническое, похожее, название улицы Серафимовича. И вдруг жердеватый старик на подгибистых ногах долгожитель Аллеи классиков, окруженный кольцом слушателей, связывал Олешу вослед: «А был ли мальчик»? Старик ненавидел Алексея Максимовича и, подика, применил Горького, чтобы распылить знаменитого Олешу, который перестал выдавать новые вещи.

Доверительным: «Я разучился писать», Олеся стучевывал хаос, завладевший его умом и сердцем. Выход находился в его натуре Олеши и в том образе жизни, который создавался под впечатлением его колоссального успеха.

Из издателей больше других благоволил к Олеши главный редактор «Художественной литературы» Александр Иванович Пузиков. Последний прижизненный том Олеши напечатал именно он. Пузиков наезжал к своему за-

стольнику в Дом творчества «Переделкино». Бражничили они шибко присадисто, и если кто и появлялся из комнаты Юрия Карловича, лишь только он сам.

Природа наделила приземистого Олешу богатырской вкопанностью: он, какую бы меру ни хлебнул, не напивался до сшибачки. Как-то заказал на Пузикова обед. Но явление Пузикова не состоялось. Юрий Карлович умел помалкивать, а здесь не утерпел и шепнул мне, что Пузикова укатала водочка и теперь он поживает под письменным столом.

Достоинство Олеши было родовое, польское. Но кое-какие черты, противоположные достоинству, он воспринял от своего отца Карла Антоновича. Еще до рождения сына Карл Антонович вместе с братом продал солидное лесное поместье, а деньги они проиграли в карты под роскошные возлияния. На финансовые укоры жены Карл Антонович раздурчился, поставил пацана Юру на подоконник, грозил застрелить из револьвера, что закончилось падением матери перед ним на колени.

Олеся гордился тем, что Анна Ахматова, изначально — Горенко, родом с Одесщины, но когда в ресторане, для знакомства, его привели за столик Ахматовой, он несколько вздыбился в кураже, дабы осознала, кто перед ней. Олешу было трудно унижаться, однако унижения он остерегался. Он чуждался спеси, зато похвальбой кутилы, гордыней ухаря отличался. Кстати, Юрию Карловичу нравилось, что его кумир, Маяковский, мало пил, хотя находил очарование в легком хмеле.

ЮРИЙ КАРЛЫЧ ПРИШЕЛ!

В ту пору, когда Олеся завязывал, то есть бросал пить, он шегольски, вкусно, с юношеским замиранием души соскальзывал на рассказы о кафе «Националь», где слыт этаким цезарем пиришеств. Он любил остановиться на полевой дорожке около деревни Лукино. И воспроизводить, как, жмурясь от сверкания люстр, фужеров и рюмок, от беззны скатертей, он входит в «Националь», а метрдотель мигом его заметит и закричит: «Юрий Карлович пришел!»

Завсегдатаи «Националя» бурно приветствуют Олешу, не исключая грузин — появление Олеши вроде умерало их прыть, на минуты, по крайней мере. Столик Юрия Карловича оберегался метрдотелем, если даже Олеся исчезал на неделю и месяцы. В стране, где отходную кредитам исполнила революция, ему верили в долг.

Олеся охотно жила в доме творчества (путевки благородной дешевизны, — теперь они недоступны большинству писателей), почти не прикладывался к рюмке, отсюда и загульная мимика в устных его рассказах.

Знаю лишь то, что ради писательства он отрекался от этого прельстительного занятия. На собраниях в клубе писателей поэт Виктор Боков наблюдал из президиума за Олешей, который сидел в зале. Олеся рассстался со своим пирированием, но Боков не предполагал, что унылая тусклота Юрия Карловича связана с этим. В перерыве Боков разыскал Олешу, спросил, почему-де у него поникло настроение. Юрий Карлович только и сказал в ответ: «Душа на протезе».

Сейчас я отдаю себе отчет в том, что Олеся не мог отказаться от бражничаия, ведь он был приморским, южным человеком. От

него, искателя и коллекционера необычайностей жизни, я впервые услышал об утонченном до мистичности признаке, открытом и названном французскими виноградарями, — *крю*.

Он, между прочим, видел, как горели в порту Одессы разноцветным пламенем бочки с вином, подожженные снарядами броненосца «Потемкин». Не за что-нибудь зацепился его наблюдательность — за пожар винных бочек.

ЧЕМ ОН ДЫШАЛ?

В Переделкине за обедом, либо в праздники, либо по воскресеньям, нас баловали деликатесами. Ананасы доставлялись индийские, в жестяных банках, законсервированные дисковыми очищенными долями. Олеся остановился за моей спиной, произнес с выкрутацией интонацией: «Жернов».

Вполне допускаю, что сущестительное «жернов» по отношению к кружляку ананаса он употре-



В Переделкине.

бил в противоборство. Может быть, «жернов» был прямым ударом по «папосной икре асфальта» Валентина Катаева, по грязи, описанной Юрием Нагибиным, по красавице Александры Фадеева — «над заводом симфония дымов». Он и сам раньше малость приторговывал на барахолке красотой, однако чувство сообразности и меры вело его к стиливой непогрешимости, чему подтверждением его главная книга — «Ни дня без строчки».

Он проявил личную охоту, взяв у меня первую книгу: сборник рассказов «Весенней порой». Город, где напечатала книгу, непроизвольно жил искуплением: здесь казнили царскую семью вместе с верными ей людьми. Еще недавно местных писателей города и области вел автор необычайных сказов Павел Бажов, а Уральский военный округ возглавлял маршал Жуков. Я писал рассказы, опираясь на долю колхозников, рабочих, инженеров, служащих Урала, Сибири, Центральной России. Олеся приложил ладонь к моей книжке прежде чем вернуть ее. «Неужели они так живут?», «Именно так живут», «Но как же... Около четверти века я уже не фельетонист Зубило. Я посещаю семьи... на разных широтах Не изменилось... Неужели?»

Он не решался подходить к поездам в тупиках. Там ревмя ревели дети и жены раскулаченных. Возмущал на подозрение. А он ведь сын бывшего помещика.

Он пил коньяк вместе с Бухариным и Кагановичем. Олеся говорил мне, что Бухарин мог бы его выручить, а вот о том, что к

процессу Бухарина-Рыкова его могли бы приобщить, не упоминал.

Юрий Карлович, предполагая, продолжал гадать, каким образом уцелел. Потому ли, что на Первом съезде писателей СССР ему дали слово, потому ли, что в его артистическую обитель, Художественный театр, наезжал отец народов? Такая мысль возникла у Олеши в момент операции. Хирург тянул его кишку. Кишка скрипела в ладонях хирурга, и подумал Юрий Карлович сквозь наркоз: Сталина убеждали арестовать его, Олешу, а Сталин ни в какую: «Не трогайте этого чудака. Он безвреден».

Кабы не его страдание о том, что он прекратился как прославленный Зубило, нельзя было бы догадаться об укрошенном им личном мятежном духе. Рассказывались легенды, выдававшие в Олеши прозорливца, бунтаря, страстотерца. Одесса после Гражданской войны. Олеся едет в автобусе. Вскрикивает на сиденье, кричит: «Остановите автобус. Кругом тьма. Надо же знать, куда везут. Вам и дела нет, куда едем. Скоро пропасть. Остановите». За Олешей после охотились чекисты. Каким-то чудом он спасся. Впрочем, московские одеситы похвалялись, якобы в их родном городе интеллигенту удавалось спастись от карательных органов и властей разных мастей. Одеситы преуменьшали свои опасности, иначе бы их город не подкинул Москве и Петербургу палачей.

Олеся не разделял притчи черных проработчиков на писательских собраниях, бросал негодующие реплики. Над залом вернулся именитый прозаик, земляк Юрия Карловича: «Мы знаем, Олеся, чем вы дышали в двадцатые годы». — «Белыми акциями черноморского побережья», — элегантно срезал его Олеся, и все обернулось хохотом.

Отечественная война. Эвакуированный Олеся в Ташкенте. Застолье польских офицеров из армии генерала Андерса. Олеся пьет с офицерами, постепенно уясняет из их недомолвок друг другу: они не волюются в Советскую армию, а уйдут из страны ради осуществления планов лондонского правительства во главе с Миклоайчиком. Он помнил, как очутился на столе и стал клеймить замысел братьев-поляков, а каким образом оказался в пустыне — нет. Олешу подобрали караванщики, следовавшие через пустыню на верблюдах.

Олеся дали маленькую квартиру в прежнем доме. Перед дверью я услышал ораторию Баха «Страсти по Матфею». Сквозь зазор приотворенной двери заметил склоненную голову. Всклоченная седина, плосковатые усики не ожидающего подерживали наивное выражение кубастого лица и соколиную зоркость зрачков. Он сидел перед конторкой. На вершину конторки стоял проигрыватель, кружа обширную пластинку. Олеся оправдательно заговорил о том, что нужно ему, чтобы душа наполнилась музыкой, без чего не пишется.

Олеся боялся фотографироваться. Им управляло мистическое мнение: снимки убавляют человека телесно, душевно, отнимают частицы времени. Благоприятное же мне, он смирялся с моим желанием фотографировать его. Почему-то он уверился в том, что я, снимая его, ни в чем ему не поврежу. Карточки он брал в «Националь», в Центральный Дом литераторов.

Он над белым снегом дороги недалеко от особняка с колоннами, построенного на манер усадебных домов. Особняк положил начало

Дому творчества в Переделкине. Что-то в Олеши пингвинное милое: лапки нарастопыр, покатошь плеч, полуповоротная раздумьем голова. Он с «казбечиной» в губах, покамест не прикуреной, яснота облика и очей, достигнутая покаянием и страстью к живописной красоте мысли.

Олеся готовился инсценировать великих писателей с поиска белых фраз. Фразу «Быть или не быть?» он оценивал как труднодостижимую и демонстрировал ее с восхитительным интонационным многообразием. Белые фразы «Бесов» ему давались сложно: роман был им напшигован с переизбыточностью.

Доверительно он познакомил меня с некоторыми из них: «Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых, но не известно было, кто у кого в руках», «Бог есть боль страха смерти», «Ах, избавьте меня от вашего Блюма...». В поисках белых фраз Юрий Олеся преследовал не только произносительную цель, но и обобщение змеиной истории в обе стороны времени: в бесконечность прошлого и в бесконечность будущего.

У Олеши не переводились в комнате тома энциклопедии Эфрона и Брокгауза, приносимые из библиотеки. Он обратил мое внимание на добычу красной рыбы на Волге при царях. Уловы осетровых на великой реке катастрофически упали из-за порчи воды и возведения Куйбышевской гидростанции. Не верил он в то, что, благодаря гидростанциям, создан электромагнитный зонд для защиты от атомных бомб. Не верил он и в витамины. Сомнения у Олеши сочетались с озорным намерением опровергать очевидные вещи.

...В открытое окно влетала ночная бабочка, поехала по абажуре, шуриливо прядая крылышками. Заметная вокруг бабочки роилась пыльца. Он обеспокоился. Обобьет бабочка чешуйки, и конец мелведице. Я зацепил мелведицу носовым платочком и спустил в темноту. Олеся мигом задернул шторы, закурился.

Он исходил из себя, Юрия Карловича, заговаривая о том, можно ли назвать повесть своим именем-отчеством. Он, конечно же, выверил по застенчивости, будет ли это восприниматься высоко. После выхода в свет его фрагментарно-мозаичной книги «Ни дня без строчки» выяснилось, а недавнее прочтение этой вещи убедило меня в истинности давней догадки: он не хотел заужения самого себя, потому и определил вольную, ни чем не стесняемую цель: я пишу о моем мире.

Чтобы дойти до читателя Олеся рассек себя в романе «Зависть» на два образа — инженера Ивана Бабичева и поэта Николая Кавалерова. Не будь знаменитый на всю Москву и страну фельетонист, прозаик и драматург Юрий Олеся одновременно с этим бездомным и одолевшем нуждой, он не узнал бы о бездомности и нужде немалого числа людей.

Наверное, от изданий к изданию подчинялся цензурой носитель колбасной идеологии Андрей Павлович — слишком уж «стерилизован» он, за исключением карательных моментов.

И все-таки цензурные вырубки не устранили негалантного провидения Олеши в этом романе из периода нэпа. Заговор чувств, то есть защита семьи, любви, чести, сострадания, гордости, совести, справедливости, мирности, направленный Иваном Бабичевым в согласии с Николаем Кавалеровым против Андрея Павловича и иже с ним, громадно проецируется на наш новый НЭП.

Юрий Карлович Олеся был оригиналом из оригиналов, он не походил ни на кого из современных ему писателей. Единственный, с кем он сопоставим по исключительной непохожести на других людей, — это Чарли Чаплин.